

DOI: 10.31860/0131-6095-2020-2-201-206

© А. М. Подоксенов

**М. М. ПРИШВИН И Б. Э. КАЛМЫКОВ
(К ИСТОРИИ НЕСОСТОЯВШЕЙСЯ ПОВЕСТИ
О «НАСТОЯЩЕМ БОЛЬШЕВИКЕ»)**

Особенность творческой биографии М. М. Пришвина — тесное переплетение его жизненного пути с эпохальными и переломными событиями русской истории, с деятельностью целого ряда представителей отечественной культуры, науки и политики. Одним из них был Бетал Эдыкович Калмыков (1893–1940) — партийный и государственный деятель советской Кабардино-Балкарии, который жестко проводил линию партии, участвовал в карательных экспедициях и особых «тройках» НКВД и сам стал жертвой сталинских репрессий. Вопрос о его влиянии на мировоззрение и творчество Пришвина середины 1930-х годов еще не становился предметом рассмотрения исследователей,¹ так как отголоски драматических событий той эпохи можно найти только в потаенном на многие годы Дневнике.

Знакомство с партийным вождем Кабардино-Балкарской республики происходит благодаря протекции Н. И. Бухарина, который, будучи в 1934–1936 годах главным редактором центральной советской газеты «Известия», приглашает Пришвина к сотрудничеству. Об этом свидетельствует краткая запись писателя в Дневнике 1934 года, датированная 4 июня: «...явилась охота ответить на предложение „Известий“ написать о сценарии.² Свидание с Бухариным (взвинчено-дружественное, шутовское...)».³ По словам современников, Бухарин был человеком открытым и дружелюбным, что многим импонировало, благоприютствуя общению. Так получилось и с Пришвиным, уже с первой встречи установившим с ним теплые товарищеские отношения, о чем можно судить по возникшей для писателя возможности печатать очерки в главной советской газете.

В Дневнике Пришвин рассказывает, что одной из самых злободневных тем для советского общества в начале 1930-х годов, которую он обсуждал с Бухариным, была тема неоднозначных, мягко говоря, итогов сталинского курса на коллективизацию сельского хозяйства. «Я говорил редактору о жалких подмосковных колхозах, он же посоветовал мне посмотреть хорошие колхозы в Кабарде и обещался написать о мне Беталу Калмыкову».⁴ Заинтересовавшись возможностью расширить кругозор своих впечатлений о колхозном строительстве и желая вновь посетить Кавказ, где он побывал в далекие студенческие годы, Пришвин в первые месяцы 1935 года начинает переписку с Беталом Калмыковым,⁵ а через год знакомится с ним лично во время его приезда в Москву по партийным делам в феврале 1936 года. Затем при поддержке Бухарина оформляет трехмесячную служебную командировку от «Известий» на

¹ Среди более 2000 источников в библиографическом указателе литературы о творчестве Пришвина за период с 1908 по 2013 год нет ни одной статьи, посвященной теме «Михаил Пришвин и Бетал Калмыков». См.: Михаил Михайлович Пришвин: Библиографический указатель / Сост. Н. В. Борисова, З. Я. Холодова. Иваново, 2013.

² Речь идет о работе Пришвина над киносценарием по материалам повести «Жень-Шень», которая была издана в 1933 году и стала заметным событием в культурной жизни страны.

³ Пришвин М. М. Дневники. 1932–1935. СПб., 2009. С. 415.

⁴ Пришвин М. М. Дневники. 1936–1937. СПб., 2010. С. 235. Далее ссылки на это издание даются сокращенно, с указанием в скобках номера страницы.

⁵ «Глубокоуважаемый т. Калмыков, посылаю, во-первых, две своих книги 1) „В краю непуг. птиц“; 2) „Золотой Рог“. Вы увидите из этих книг, умею ли я исследовать и описывать неизвестные мне края. Во-вторых, прилагаю в копии (подлинник надеюсь вручить Вам лично) рекомендацию Н. И. Бухарина. Теперь вот мое дело. Желая изучить и описать всю Вашу маленькую, но, как все говорят, хорошо устроенную страну: природу, хозяйство, управление, людей. Мне нужна для этого Ваша помощь во всех отношениях, потому что я человек уже сильно пожилой и силы свои принужден экономить» (Пришвин М. М. Дневники. 1932–1935. С. 590).

Кавказ — с марта по июнь 1936 года. «Бухарин там был, все видел, охотился и очень полюбил Калмыкова, как чисто дитя природы, и за его личную необычайную храбрость, и за его государственный талант, и за интеллигентность» (с. 878), — писал Пришвин об обстоятельствах своего окончательного решения ехать в Кабарду, где он наконец-то хотел встретиться «настоящего большевика», размышления о котором не давали ему покоя все послеоктябрьские годы.

Личность выбившегося из простых пастухов в высший состав партийного руководства страны вызывала закономерный интерес у многих писателей, и в Кабардино-Балкарии в разное время побывали А. А. Фадеев, А. С. Серафимович, М. Е. Кольцов, Н. С. Тихонов, не говоря уже о Бухарине и ряде других деятелей большевизма, связанных с Беталом по партийно-советской работе или памятью о революционном прошлом. Благодаря журналистам и литераторам Бетал Калмыков в 1930-х годах стал довольно-таки популярной фигурой в стране. Исаак Бабель, который дружил с ним, даже собирался написать о нем книгу, отрывки из которой были хорошо известны в литературских кругах того времени. И как убедился Пришвин, рисуемый образ человека величайшей храбрости и нестигаемого мужества вполне соответствовал тем рассказам и легендам, которые распространялись о Бетале Калмыкове в московской писательской среде. Подружившись с Беталом за время кавказской поездки, Пришвин намеревался сделать его главным героем повести — борцом за народное счастье, ведущим советскую Кабардино-Балкарию к социализму, о чем говорило уже само предполагаемое название произведения — «Счастливая гора».

Однако знакомство не только с партийно-государственной элитой, но и с жизнью простых людей казалось бы процветающей южной республики — на фоне зачастую бедственного положения населения центрально-черноземных русских областей — меняет первоначальные замыслы Пришвина. По мере того, как он постигает своеобразие национальных традиций, особенности обычаев и психологии горских народов, узнает подлинные факты и обстоятельства становления в республике советской власти, его все чаще беспокоит мысль о нравственности кабардино-балкарских большевиков в понимании путей и методов строительства нового общества.

Поэтому, в отличие от других писателей, основное внимание уделявших подвигам Бетала во время революции и становления советской власти в родной Кабарде, для Пришвина ведущей линией сюжета повести становится раскрытие у главного героя психологии «преступления и наказания», к исследованию которой в свое время обратился Ф. М. Достоевский. Хотя неизвестно, остались ли в архиве Пришвина наброски и подготовительные материалы к задуманной повести о «настоящем большевике», черновые записи в его Дневнике середины 1930-х годов свидетельствуют, что мысль писателя занята не столько привычной для него тематикой передачи особенностей природного ландшафта и как всегда мастерского изображения сцен охоты, сколько проблемой моральной деградации революционеров, когда совершаемое зло перестает тревожить их совесть. Если в прежние времена народ в большинстве всегда считал пролитие крови преступным и аморальным, то после Октябрьского переворота духовная атмосфера общества резко изменилась, и Пришвин, переосмысливая идеи Достоевского, стремится понять те скрытые социальные причины, по которым все то зло, что неизбежно несет революция, не только быстро забывается, но и оправдывается общественным мнением.

Самым примечательным в Бетале Калмыкове, в понимании Пришвина, была полная подчиненность революционной идее, которая не только всецело определяла его деятельность как руководителя республики, но и служила нравственным оправданием, позволяя не жалеть ни своей крови, ни крови других людей. Партийный вождь Кабардино-Балкарии был наглядным воплощением той *новой морали*, которую порождало революционное время. Если прежде почти любой интеллигент, будь то верующий или атеист, видел смысл жизни в нравственном противостоянии власти и, будучи вечным заступником за «маленького человека», выступал против насилия государства над личностью, то для большевистской элиты, которую олицетворяли люди, подобные Беталу, главным стало служение политической идее, ради

которой они были готовы отринуть все нормы морали и оправдать любое преступление.

Действительно, марксизм с его теорией классовой борьбы и диктатуры пролетариата был для большевиков не только идеей революционного переустройства мира, но и индульгенцией, позволявшей избегать мук совести и оправдывать любые злодеяния ради светлого будущего. «Если это будет открытая повесть, — пишет Пришвин о замысле „Счастливой горы“, — то герой ее Бетал должен победить „черта“ государственности <...> напр<имер>, самому лично нельзя убить, сам подписывает, другой убивает...» (с. 24). Не случайно большевики, создавая формальную видимость *«презумпции невиновности»* властных структур партии и государства, «Ленина даже освободили от необходимости подписывать смертные приговоры. Эта „легкость“, облегченность через *обезличение действия* дает возможность создания плана, закона и других чисто государственных принципов, благодаря которым делается возможным механизировать общество...» (там же).

Очевидно, что мысль о механизации общества путем обезличенности представлений человека о добре и зле Пришвин берет у Достоевского, чтобы применить ее к характеристике советского времени. Именно о таком обезличенно-механическом подходе к жизни говорил Раскольников, пытаясь убедить себя, что убийство вредной старухи можно загладить множеством добрых дел: «За одну жизнь — тысячи жизней, спасенных от гниения и разложения. Одна смерть и сто жизней взамен — да ведь тут арифметика!»⁶ Более того, Раскольников прямо заявляет, что великий человек, «если ему надо, для своей идеи, перешагнуть хотя бы и через труп, через кровь, то он внутри себя, по совести, может, по-моему, дать себе разрешение перешагнуть через кровь...».⁷

Именно идея «крови по совести», основанная на обезличенной механике арифметического подсчета сумм добра и зла, стала для большевизма оправданием всех издержек классовой борьбы и диктатуры пролетариата, позволяя освободить сознание от угрызений совести, которая объявлялась буржуазным пережитком. Избавляя своих приверженцев от норм морали, революционная идея на бытовом уровне проявлялась как в виде отказа от нравственных заповедей общественного бытия, так и в форме пересмотра родоплеменных обычаев. Собирая свидетельства о переменах жизни людей в Кабардино-Балкарии, Пришвин записывает рассказ одного из очевидцев, что вообще-то «вождем революции был вначале не Бетал, а один балкарец. Потом у него вышел спор с Беталом, и тот его арестовал. Балкарцу удалось убежать, но — вот чудак человек! — он вернулся к Беталу доспоривать, и тот велел его расстрелять» (с. 254).

Так немыслимое прежде для коренных жителей Кавказа нарушение обычая гостеприимства стало вполне допустимым для большевиков — под оправдательным предлогом борьбы с представителями враждебных классов. «Бетал убьет и гостя, ему можно. — А почему можно Беталу? — Бетал знает, что будет вперед. Мы за старое держимся, а Бетал смотрит вперед. Ему можно» (с. 254), — передает Пришвин слова одной кабардинской учительницы, хорошо знавшей главного секретаря своей республики.

В качестве еще одного из показательных примеров Пришвин приводит рассказ уже самого Бетала, как в 1920 году во время установления советской власти в Кабарде «он с товарищем под каким-то предлогом созвал на заседание всех знатных людей области, после заседания заманил их в подвал: „и тут мы их, как барашков, перерезали“» (с. 138). Так идея революционного переустройства мира ставилась выше традиционных представлений о добре и зле. Вероломство, обман и беспощадность большевиков по отношению к сторонникам других взглядов оказались своеобразным аналогом «кровной мести» старому миру, а строительство советского государства превратилось в самодовлеющую цель, на пути к которой друзья и враги стали всего лишь средством или препятствием.

⁶ Достоевский Ф. М. Преступление и наказание // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1973. Т. 6. С. 54.

⁷ Там же. С. 200.

Весьма интересно проследить логику творческого мышления Пришвина, когда художественно-образный взгляд на реальность у него органично дополняется идейно-политическим анализом событий, завершаясь нравственной оценкой или философским умозаключением. Окончательно уяснить психологию Бетала как партийного вождя-самодержца земледельческо-пастушеской Кабардино-Балкарии Пришвину помог рассказ одного абхазского писателя о радости, с которой старики встречают появление в доме невестки — продолжательницы жизни рода: «...я вдруг понял, что большие строители вроде Бетала (быть может, и Сталина и всех лучших революционеров) в глубине себя именно и живут этим самым чувством хозяев рода...» (с. 230). Ведь по своему статусу глава рода не только обязан выйти за рамки личностного бытия, но и, осуществляя природное предназначение, обеспечить продолжение семьи, должен мыслить абстрактно-арифметически, вне этических соображений добра или зла. Когда человек входит во власть и обретает «*чувство хозяина рода*», его психология неизбежно меняется: «Государственный человек привыкает на живого человека смотреть не с точки зрения личности, единственной в своем роде и неповторимой в истории человечества, а человека вообще <...> из этой „человечины“ он выбирает себе друзей, работников, помощников, учитывая их необходимые слабости и дарования». Соответственно, продолжает Пришвин, и у людей к партийному начальству появляется «как бы *двойное отношение* (к тому же Беталу): он почитается как начальник, и в то же самое время проглядывает в отношении человека в начальнике что-то циничное» (с. 238).

Конечной причиной этой циничной двойственности вождей-властителей советского времени, очевидно, было внутреннее противоречие самой идеологии большевизма, для которой важнее всего был вопрос о скорейших путях построения социализма, а не о нравственности средств, не соображения о добре и зле. Для революционеров-марксистов, стремящихся к коренной переделке всего мира, принципы общечеловеческой морали, которые люди выработали за свою историю, утрачивают всякую значимость. Этим, заключает Пришвин, и объясняется двуликость Бетала, когда для окружающих людей, с одной стороны, он друг и соратник, а с другой — насильник и палач: «В дружбе своей он становится ребенком, играющим добрым зверем, в то же время способным вдруг впустить когти в горячее мясо» (с. 369). Однако мысль Пришвина не останавливается на разгадке идейно-политических причин двуликости Бетала как государственного деятеля, раздвоившегося на человека и большевика. Саму идею построения коммунистического рая, где соотношение добра и зла большевизм намерен определять арифметически, писатель считает трагическим заблуждением.

В свое время Достоевский устами Раскольникова уже ставил вопрос о личностях наполеоновского типа, которые, руководствуясь идеей «крови по совести», считают себя вправе выйти за пределы морали: «Настоящий *властелин*, кому все разрешается, громит Тулон, делает резню в Париже, *забывает* армию в Египте, *тратит* полмиллиона людей в московском походе и отделяется каламбуром в Вильне; и ему же, по смерти, ставят кумиры, — а стало быть, и *все* разрешается».⁸ Пришвин не только проводит аналогию между словами Раскольникова и деятельностью советских вождей, которые выходят за пределы добра и зла, но и развивает мысль главного героя «Преступления и наказания» о логике оправдания «крови по совести», предлагая свое объяснение причин, по которым возможно забвение обществом совершаемых преступлений. «Много было крови пролито в Балкарии, тяжело дались народу эти пастушеские колхозы. И все-таки эта кровь сошла с Бетала, как роса.

— Как это вы понимаете? — спросил я классную даму.

И она ответила:

— Ну, что же, *Бетал настоящий большевик*.

— Значит, большевик — это человек, который может убивать, и кровь для него, как роса?» (с. 254; курсив наш. — А. П.).

⁸ Там же. С. 211.

Этот диалог с учительницей-кабардинкой Пришвин приводит, чтобы показать, как подчиненность революционной идее обезличивает человека и он начинает действовать не рассуждая, подобно механизму, который запрограммирован на достижение цели. Задача большевиков — построить мир без Бога и без морали, в котором господствует политическая целесообразность, заранее оправдывающая все жертвы. В атеистическом обществе, несмотря на весь ужас бесчисленных убийств, пролитая кровь очень скоро забывается и не ставится в вину человеку, ибо все злодеяния он совершает не для себя, а по вере своей в идею построения лучшего мира. Поэтому, заключает Пришвин, «совершенно ясно, почему Бетал из всей революционной резни вышел незапачканным кровью: кавказцы кровь как росу понимают: роса высохла, и нет ничего. В их натуре нет христианской испуганности „преступлением и наказанием“. Их нравственная личность обходится совсем без этой усложненности» (с. 335).

Но если вероломство Бетала в борьбе за власть в маленькой Кабардино-Балкарии демонстрировало простоту и неискренность нравов земледельческо-пастушеского общества, то борьба за власть в такой огромной стране, как Россия, принимала гораздо более сложные формы, включающие весь спектр форм и методов морально-политического интриганства, от бытового приспособленчества до двурушничества и доносов. О том, что доносите́льство в стране Советов было явлением обычным, свидетельствует эпизод, приключившийся с писателем во время поездки на Кавказ, где он неожиданно получает письмо от Бухарина с упреком в антисоветской деятельности, которую, по некоторым сведениям, он якобы ведет, используя положение корреспондента «Известий». Разумеется, Пришвин сразу же написал ответ об абсурдности подобных обвинений и, оскорбленный, заявил редактору, что возвращает удостоверение корреспондента и «одновременно с этим возвращает в бухгалтерию взятый аванс и Вашу дружбу: я Вам больше не друг» (с. 252).

Неизвестно, осталось ли это письмо, о котором мы знаем по записи в Дневнике, только черновиком или все-таки было послано адресату, но только ситуация с доносом закончилась для Пришвина благополучно, и в дальнейшей переписке Бухарин предпочел этой теме не касаться. Да и сам писатель не стал настаивать на разбирательстве, понимая, что нагнетание подозрительности и мания поиска вредителей были прямым следствием исходной идеи классовой борьбы. «Большевизм остается неизменным, меняется область его нападения: то это были землевладельцы, то купцы, то интеллигенция, то самая партия как враг... Что дальше? Дальше нужно бы с кем-нибудь воевать».⁹

Одним из таких примеров обострения внутривластной борьбы стали начавшиеся летом 1936 года политические процессы над оппозицией, под удар которых вскоре попал Бухарин, а затем и Калмыков, арестованный 12 ноября 1938 года. Вдова Бабеля А. Н. Пирожкова в воспоминаниях пишет: «Бабель сообщил мне об аресте Бетала: „Его вызвали в Москву, в ЦК, и, когда он вошел в одну из комнат, на него набросилось четыре или пять человек. При его физической силе не рисковали арестовать его обычным способом; его связали, обезоружили. И это Бетала, который мог перенести любую боль, но только не насилие над собой! После его ареста в Нальчике был созван партийный актив Кабардино-Балкарии. Поезд, которым приехали представители ЦК, был заполнен военными — охраной НКВД. От вокзала до здания обкома, где собрался актив, был образован проход между двумя рядами вооруженных людей. На партактиве было объявлено о том, что Бетал Калмыков — враг народа и что он арестован, а после окончания заседания весь партактив по проходу, образованному вооруженными людьми, был выведен к поезду, посажен в вагоны и увезен в московские тюрьмы...“ Бетал погиб. И остался ненаписанным цикл рассказов Бабеля о Кабардино-Балкарии».¹⁰

Арест Бетала изменил и творческие намерения Пришвина: подготовительные материалы к повести «Счастливая гора» так и остались черновыми набросками в Дневнике. Позже по материалам поездки на Кавказ Пришвин опубликует лишь несколько

⁹ Пришвин М. М. Дневники. 1938–1939. СПб., 2010. С. 11.

¹⁰ Пирожкова А. Н. Я пытаюсь восстановить черты. О Бабеле — и не только о нем. М., 2013. С. 221–222. Курсив наш. — А. П.

коротких рассказов по одной странице каждый.¹¹ Конечно же, подцензурное содержание этих природно-этнографических зарисовок ни в малейшей степени не передает глубину замысла предполагаемой повести, которая на примере внешне процветающей и благополучной Кабардино-Балкарии должна была показать, что практическое воплощение революционной идеи возможно только за счет уничтожения извечных устоев нравственной жизни людей и сгладить это коренное противоречие не под силу никакому «настоящему большевику». При этом черновые наброски повести в очередной раз являют мировоззренческую независимость писателя от идейного давления государства.

Свою главную жизненную цель Пришвин видит в честной оценке событий, стать очевидцем которых ему доверила судьба: «Друг мой, верьте мне, что не из тщеславия и не от избытка сознания стал я летописцем. <...> Мне нужно было пережить, продолжиться, подрасти, как дерево, чтобы в новых условиях начать понемногу догадываться о значении минувшего, скажу яснее: в настоящем из прошлого догадываться о будущем».¹² Творчество для писателя как объективного свидетеля эпохи — это единственно возможный способ бытия, когда нет границы между искусством и жизнью, идеей и реальностью, ибо все существует в тесной взаимосвязи и одно всегда вытекает из другого. Подтверждением тому оказалось завершение жизненного пути как Бухарина, так и Бетала Калмыкова. Хотя ревностное служение революционной идее вознесло их на вершину советской власти, в конечном счете эта же идея закономерно подвела обоих под беспощадный каток сталинских репрессий.

Подводя итог, отметим: своеобразие Пришвина заключается в том, что в его творчестве не только воссоздаются жизненные реалии и сама атмосфера тех эпохальных исторических разломов, свидетелем и участником которых ему пришлось быть. Своеобразие еще и в том, что в русской и советской литературе трудно найти творца, искусство которого было бы в такой же степени обусловлено влиянием идейно-политических, социокультурных и нравственных детерминант жизни общества. Талантливый художник слова и мыслитель с оригинальным философским взглядом на природу, общество и человека, Пришвин обладал не только обостренным чувством времени, но и умением оказываться в центре наиболее значимых событий той сложной и трагичной эпохи бытия России, в которой ему довелось жить и творить.

Стремление добраться до конечных причин социальных явлений и несомненный талант мыслителя позволяют Пришвину сформулировать поистине философское заключение: нельзя обвинять личность в том, в чем виновата руководящая людьми идея. Проводя аналогии с персонажами Достоевского и применяя его идеи к анализу советской эпохи, на примере судьбы Бетала Калмыкова как типичного представителя большевиков-ленинцев Пришвин раскрывает не только трагическую противоречивость их убеждений, но и делает историософские выводы о внутренних духовно-нравственных изъянах революционной идеологии.

¹¹ Пришвин М. М. Кавказские рассказы // Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. М., 1983. Т. 4. С. 364–370.

¹² Пришвин М. М. Дневники. 1928–1929. М., 2004. С. 249.